

«МЫ ОКАЗЫВАЕМСЯ В МИРЕ, ГДЕ НИКТО НЕ ДУМАЕТ О СЛОВАХ, ГДЕ СЛОВА ЛЬЮТСЯ ИЗ СЕРДЦА...» ПАМЯТИ НАТАЛЬИ КОЗЛОВОЙ (1946–2002)

Умерла Наталья Никитична Козлова. Это случилось 7 января 2002 года. Моя бывшая коллега, работающая в Москве и постоянно переписывающаяся со мной, сообщила мне об этом через месяц после случившегося. Не хотела меня огорчать, так как знала, как дорожу я общением с Натальей Никитичной, как тепло к ней отношусь и как ценю ее способности тонкого анализа и глубокой интерпретации человеческих судеб, образующих, в конечном счете, судьбу общества.

Философ по образованию, много лет проработавшая в Институте философии (АН СССР, а затем РАН), доктор философских наук, в последнее время — профессор философского факультета Российского государственного гуманитарного университета, Наталья Козлова внесла неоценимый вклад в социологическое осмысление советской эпохи. Она заставила прислушаться к голосу живых людей, наших респондентов, которых мы, опрашивая, вроде бы слушаем, но не всегда слышим, что они говорят. Сколько красивых фраз, новомодных терминов и словечек кочуют из одного нашего опуса в другой, но как мало работ, где бы мастерски пользовались техникой понимания и адекватного осмысления исходной для социолога информации, источником которой является человек. Работы Н. Козловой как раз принадлежат к их числу. Назову лишь некоторые: книги — «Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора»; «Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: Опыт лингво-социологического чтения»; статьи — «Крестьянский сын: опыт исследования биографии»; «Заложники слова»; «Документ жизни: опыт социологического чтения»; «Сцены из жизни «освобожденного работника» [1–5].

Название статьи, посвященной памяти Натальи Никитичны, взято из текста предисловия к ее книге «Наивное письмо». Само предисловие имеет подзаголовок: «История любви». Действительно, и эта книга, как и все другие работы Н. Козловой, — это история ее любви

к материалу, с которым она работала, свидетельство исключительной привязанности и сердечной доброты к людям, которых она стремилась понять. А как иначе могла Наталья Никитична вначале от руки переписать дневниковые записи (три толстых тетради) неграмотной женщины Е. Кисилевой (кстати, уроженки Украины), а затем собственноручно набрать их на компьютере. Благодаря колоссальным ее усилиям (которые необходимо было приложить еще и для того, чтобы сохранить орфографию, не потерять оригинальность письма, «не поставить, например, по дурной интеллигентской привычке запятую там, где ею пренебрег загадочный автор») удалось издать записи Е. Кисилевой в их «первозданном» виде. Этот подвиг Н. Козловой дал возможность и нам испытать ту «зачарованность» текстом, которую испытывала она сама, читая «наивное письмо».

Дважды Наталья Никитична обращалась к этому тексту (в книге «Наивное письмо» и в статье «Документ жизни»), пытаясь «через написание истории маленького человека и его повседневности соединить концы распадающейся социальной ткани». И в том, и в другом случае, как и во всех прочих ее интерпретациях «человеческих документов», содержатся интересные идеи и размышления, дающие возможность понять советскую эпоху во всей ее глубине, многообразии и противоречивости. Объяснить это можно тем, что в интерпретациях Н. Козловой несомненный интеллект и эрудиция сочетаются с одухотворяющим велением сердца и способностью к эмпатии.

Впоследствии в статье «Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Размышления о значимости методологической рефлексии» Наталья Никитична напишет следующее: «Данная статья — результат осмысления работы, которая увлекала меня на протяжении почти десяти лет и до сих пор *не отпускает*. Все началось в 1992 году чтением и попыткой интерпретации «писем трудящихся» в газеты и журналы периода перестройки и гласности. Признаюсь, начала это делать, чтобы подработать. Однако и сами источники, и процесс размышления над ними настолько захватили мое внимание, что жизненно-практический вопрос заработка отошел на последний план. От этих писем постепенно перешла к документам иного рода — воспоминаниям, семейной переписке и самому доверительному — дневникам» [6, с. 22].

Курсив в приведенной цитате мой. Я специально хотела выделить это «*не отпускает*»: как просто Наталья Никитична характеризует

свою увлеченность материалом, «непрагматичность» своей тяжелой, порой изнурительной работы над человеческими документами. Многие ли из нас могут сказать о своей работе, что она их «не отпускает»? Возможно, именно потому, что работа «не отпускала» и писалась по велению сердца, ей удавалось увлекательно и вполне убедительно сформулировать ряд абстрактных и, казалось бы, «скучных» методологических заключений относительно так называемых качественных методов. Последним — как «мягким» методам — противопоставляются «жесткие», количественные, считающиеся эталоном научности. «Мягкость» в данном случае, как считает П. Козлова, не более чем эвфемизм. «Близкое» чтение «человеческих документов», — пишет она, — по существу более жестко, чем, допустим, обычный социологический опрос». И далее: «мягкие методы жестки в силу почти недозволенного преодоления дистанции, нарушения границы, приближения к личности» [6, с. 23].

Идея о неправомерности противопоставления одних методов другим (совершенно неадекватно названных «количественными» и «качественными») является плодотворной. Мастерское чтение Н. Козловой индивидуальных «человеческих документов» оказало мне неоценимую услугу при интерпретации результатов проводимых на постсоветском пространстве массовых опросов и при попытке уяснить природу «повседневной идеологии». Самой Наталье Никитичне сопереживание «индивидуальному» дало возможность осуществить социальную типизацию, которая широко использовалась ею при чтении курса «Социально-историческая антропология». Характеристика ею таких социальных типов, как «джентльмен», «буржуа», «крестьянин», «интеллектуал» и «советский человек», сделала чтение ее учебника «Социально-историческая антропология» увлекательнейшим занятием. И трудно отнести эту типизацию либо к теоретической, либо эмпирической, потому что знаешь, что выделению типических черт (по крайней мере для трех последних типов) предшествовало внимательное всматривание и вчувствование в судьбы сотен людей.

Хочу обратить также внимание еще на одну особенность творчества Натальи Никитичны. Учитывая хронологию ее работ, можно видеть, какова эволюция ее взглядов, как возрастает доверие и уважение к авторам «наивного письма». Собственно говоря, первоначально (если судить по статье «Заложники слова», написанной в 1995 году) речь шла не об авторах, а об агентах, «играющих» в рам-

ках наличного культурного контекста», которые именовались «акторами». Этот термин, представляющий кальку с английского и широко используемый в постсоветской социологии (зачастую пишут просто и «понятно» — «актёр»), кажется мне бессмысленным и даже уничижительным, т. к. он как бы замещает более привычного нам «субъекта» действия.

Совершенно явно «наивно-пишущий» актер характеризуется как «бессубъектный человек» в работе «Наивное письмо», причем рассуждения по этому поводу представлены здесь как «методологически важный вопрос». В подразделе «Бессубъектный человек» авторы (Н. Козлова и И. Сандомирская) пишут: «Трудно говорить о «пишущих наивно» как о субъектах». И далее идут рассуждения, которые совершенно противоречат духу того, что представляет собой Наталья Никитична как творческая индивидуальность. Частично я приводила эти высказывания в своей книге «Повседневная идеология», выражая свое неприятие данной позиции. Здесь приведу их полностью: «Субъект мыслится хозяином истории, который берет ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Субъектом почитают того, кто обладает сознанием волевым, рефлексивным, кто способен совершать выбор, реализуя возможности индивидуальной свободы. Субъект — тот, кто подчиняется императиву «истинного бытия», не замыкаясь в «бессмысленном быту» [2, с. 53]. Такое понимание субъекта авторы связывают с «классическими» представлениями лингвистов о так называемой языковой личности и приводят на этот счет различные высказывания последних. В соответствии с этим, как пишут авторы книги «Наивное письмо», люди вроде Кисилевой — и не субъекты, и не личности вообще. «Недаром, — как они замечают, — современные социологи стремятся разрешить эту проблему, меняя понятие субъект на понятие актер» [2, с. 55].

Но чуть позже, в своей книге «Горизонты повседневности советской эпохи», где анализируются письма трудящихся в газеты и журналы, Наталья Никитична напишет уже об амбивалентности, противоречивости описываемых этими понятиями реалий, о том, что в различных ситуациях люди, «составляющие массу», ведут себя по-разному: то, как безликие агенты, то как индивиды, для которых все же характерна субъектность. «Современная социология, — пишет Н. Козлова, — стремится разрешить это противоречие, вводя понятие «актер» — вместо понятия субъекта или даже агента. Однако этот самый актер *«не является только эпифеноменом структу-*

ры» [1, с. 87]. Курсивом я выделила то, что дает возможность далее сделать очень важное, с моей точки зрения, заключение: «...масса не может быть приручена на все сто процентов. Тотальная манипулируемость массы — интеллигентский миф» [1, с. 87]. Наконец, в 1999 году в «Социально-исторической антропологии», характеризуя данную дисциплину как знание о конкретных формах существования, Н. Козлова подчеркивает, что сами эти формы рассматриваются «в рамках опыта, переживаемого субъектом» [9, с. 3].

Эволюция взглядов, происшедшая, как мне кажется, под воздействием «человеческого материала», раскрывающего все новые черты человека из массы, свидетельствующего о его субъектности и своеобразном духовном богатстве, придает исследовательским выводам и заключениям подлинно гражданское звучание. Это совершенно определенно проявилось в характеристике таких социально-антропологических типов, как «интеллектуал» и «советский человек». Н. Козлова воспроизводит ряд определений последнего, которые содержались в периодической прессе 1990–1995 годов: «гомосос», «копс» и, конечно же, «совок». Преобладающий тон данных определений состоит в следующем: «Советский человек — тот, у которого отсутствует «осмысленное, цельное представление о происходящем», кто не способен к нормальной органической работе по созиданию смыслов». И далее: «...советский человек виделся воплощением патологии. По поводу этого человека высказывались либо в осуждающем, либо, по меньшей мере, в скорбном тоне» [9, с. 151].

Но кто же создает смыслы? (И, как можно предполагать, имеет «цельное представление о происходящем».) Наверное, это как раз те, кого можно называть субъектами. Такими людьми, очевидно, как раз и являются «интеллектуалы», поскольку именно они причастны к выработке и легитимации норм и «ощущают себя группой через общую функцию — нормирование». Это, как считает Н. Козлова, позволяет интеллектуалам помещать себя в привилегированное социальное пространство. «Вот, мол, башня — культура, а на вершине этой башни — Я. Я, интеллектуал, — субъект, а вы — не субъекты. Сдвиг происходит легко. Если интеллектуал мыслится субъектом, то люди массы — объектом то ли просвещения, то ли манипуляции. Я истину говорю (за вас), а вы — марионетки культуры, традиции или власти». И далее Н. Козлова приводит слова А. Платонова из очерка «Че-че-о»: «А ведь это сверху кажется — ... внизу масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут...» [9, с. 138–139].

Действительно, «сверху» и нам социологам-интеллектуалам порой Бог весть что кажется! А может быть, нужно не «сверху» смотреть, а «вокруг себя», преодолевая снобизм и соблазн исключительного права на истину. Примеров же социологического снобизма предостаточно. Вот лишь один относительно свежий: полемика по поводу так называемой «негативной идентификации» между В. Шляпентоховом и Л. Гудковым в журнале «Мониторинг общественного мнения» [8]. Я ссылаюсь на этот пример, так как он дает возможность «высветить» преимущества методологической и нравственной позиций Н. Козловой. Суть концепции «негативной идентификации», изложенной профессиональным социологом, заместителем главного редактора «Мониторинга общественного мнения» Л. Гудковым, состоит в следующем: данная идентификация, или «коллективный астенический синдром», корни которого уходят в глубины культуры и национальной психологии, а также в советскую пропаганду, — основная причина неудач реформирования и основание объяснения всего того безобразия, которое происходит в настоящее время. Критика данной позиции В. Шляпентоховом состоит в указании на два обстоятельства: во-первых, наличие черт, якобы характеризующих данную идентификацию и вышеуказанный синдром («разнообразные комплексы неполноценности», склонности к «циничным жестам и ненормативным действиям», «враждебное отношение к чужим», «наличие панциря базового недоверия к реальности», ожидание «общепринятой пайки» и т. п.), никак эмпирически не доказано; во-вторых, при характеристике и объяснении «негативной идентификации» Л. Гудков сознательно и вполне решительно отказывается учитывать «объективные условия жизни населения», рассматривая указанную идентификацию как «независимую переменную» [см.: 13].

От себя добавлю: идентичность в данном случае (как и во многих других) определяется посредством поверхностного суммирования ряда высказываний, содержание которых провоцируется самой постановкой вопроса. С такого рода «интерпретацией» я неоднократно сталкивалась, когда работала над «Повседневными идеологиями». Что касается данной полемики, знакомство с ней заставляет обратиться к той трактовке идентичности, которая содержится в «Социально-исторической антропологии» Н. Козловой и дается ею в связи с размышлениями о том, что такое «советский человек» как некоторый социальный тип. При этом Н. Козлова подчеркивает, что

речь будет идти «о вещах, принципиально важных с методологической точки зрения». Относительно идентичности она пишет следующее: «Идентичность не сводится к словесным выражениям... Человек проявляет и обозначает свою идентичность, не только прямо отвечая на вопрос: «Кто ты такой?», но и действуя: одеваясь, проводя досуг, определенным образом питаясь, обустроивая жилище и выбирая жену... Можно узнать, кто есть этот человек, если он способен это показать» [14, с. 152]. От себя добавлю: а вот «показать» человек может лишь при наличии необходимых объективных условий, образующих диапазон его реальных возможностей и определяющих его оценки происходящего. Понять те смыслы, которые люди вкладывают в свои высказывания, невозможно без учета этих условий, характеризуя ту или иную идентичность, нельзя этим пренебречь.

Мастерски раскрывая образ того или иного «советского человека», избегая крайностей в интерпретации свидетельств его жизни, в его оценке, Н. Козлова в значительной степени углубила наши представления о том, что такое «советское общество». «К сожалению, — пишет она, — мы, действительно, знаем о советском обществе непростительно мало... Словом, советское общество надо изучать, и эта задача должна изучаться любыми теоретико-познавательными средствами» [14, с. 108]. Это написано в превосходной статье, посвященной анализу дневниковых записей, которые вел партийный и профсоюзный работник в блокадном Ленинграде. Ведь какой соблазн был дать гневную разоблачающую характеристику человеку, который подробно описывает (вроде бы цинично «смакует») прелести пансионата горкома партии в своей записи от 5 марта 1942 года! Но Наталья Никитична пристально вслушивается и «всматривается» в своего «героя», учитывая «тон сказанного», его искренность и известную долю наивности. Оставив «при себе свои моральные чувства», она разбирается в том, «как именно конструируется, производится и воспроизводится, говоря социологическим языком, это представление о социальной реальности (и, соответственно, сама реальность). Для этого, — пишет она далее, — следует отнестись к сказанному, как социальному факту, т. е. преодолеть границы нашего собственного опыта, сегодняшнего уровня понимания, заменить частные определения корпусом знания» [14, с. 111].

Еще на одной важной проблеме следует остановиться, имея в виду творческое наследие Н. Козловой. Проблема эта, сформулированная в статье «Кризис классических методологий и современная познаватель-

ная ситуация», в самом общем виде выглядит так: «Каким образом происходит «перевод» методологий социального познания с культуры на культуру?» [10, с. 12]. В основе данной проблемы — вполне серьезные, обусловленные практикой использования различных познавательных средств противоречия. С одной стороны, научные понятия носят универсальный характер, не имеют отечества и, значит, могут использоваться «поверх барьеров». С другой стороны, любое научное понятие, а тем более характеризующее социальную жизнь, — «результат осмысления конкретно-исторического опыта, специфического жизненного контекста», за которым «тянется длинный шлейф повседневных образов и интерпретаций» [10, с. 12]. С этим связана еще одна коллизия, на которую обращается внимание в статье: испытывая потребность в новых теоретических подходах при анализе «новых реалий», мы ощущаем, однако, что отечественный материал часто «не вмещается в прокрустово ложе «чужих» понятий... А потому, — как считают авторы статьи, — вопрос о том, какое отношение имеет к нашей ситуации то, что сказано на Западе и о Западе, вполне правомерен» [10, с. 12].

Пафос позиции авторов состоит в том, что необходим именно «перевод», а не простое заимствование. Разъяснения, в чем именно может состоять этот «перевод», делаются на примере соотнесения понятий «актор» и «субъект». Правомерность первого, как считают авторы (и в этом как бы заключается предлагаемый ими «перевод»), состоит в том, что понятие актер «оставляет широкий простор многообразию форм и степеней субъективности». Можно соглашаться или нет с таким «переводом» и обоснованием замены понятия «субъект» на «актор», но, во всяком случае, понимаешь, о чем идет речь, и определяешь правомерность доводов «за» или «против». Трудно, например, согласиться с тем, что «актор» характеризует «степень», ибо тогда должна быть построена «шкала субъективности» и введены другие понятия, обозначающие позицию на данной шкале. В таком случае «актор» — это позиция «нулевой субъективности» или «вырожденный» ее случай. Но, по крайней мере, авторы видят проблему и предлагают способ ее решения, свои варианты «перевода», без которого невозможно функционирование научного сообщества.

Чаще же всего в наших «опусах» какой бы то ни было перевод отсутствует, а новые понятия — а точнее, выражающие их термины — употребляются без уточнения и разъяснения их смысла. Последний же обусловлен тем, в рамках какой методологической стратегии социолог предполагает работать, но именно работать, не ограничиваясь

обозначением и названием. Ведь термины и соответствующие им понятия должны использоваться для формулирования идей и выявления определенных связей и отношений. «Новые» термины и понятия берутся на вооружение, когда формулируется новая идея или обнаруживаются новые связи и отношения. Отсутствие потребности в определении смысла употребляемого термина, содержания используемого понятия связано с тем, что в работе подчас нет только новой идеи и оригинальной позиции, но вообще не сформулирована собственная идея и не определена позиция, что необходимо для научного анализа. За частоклолом фраз и новых терминов — отсутствие мысли. Вот уж поистине — «просвещенное невежество», о котором писал наш коллега Е. Суименко в своем эссе «Феномен незнания, или Кое-что о просвещенном невежестве» [11]. Может быть, действительно, вполне оправданно название, используемое применительно к социологическим текстам, когда их называют не исследованием, а «социологическим дискурсом», то есть «говорением», рассчитанным на то, чтобы произвести определенное впечатление.

В статье «Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация» пишется: «Часто появление новых средств познания воспринимается как языковая игра, вовсе необязательная и многих раздражающая» [10, с. 17]. Признаюсь, меня тоже раздражают эти игры, и происходит это часто. Являются ли наши «игры» теми языковыми играми, которые Л. Витгенштейн связывал с «формами жизни»? В какой-то степени — да, так как особая актуальность проблемы «перевода» социологических языков порождена нашими особыми обстоятельствами, в которых проходили становление и эволюция отечественной социологии. В своем «Введении в специальность» я обращала внимание на эти «особые обстоятельства»: в связи с возрождением социологии в бывшем советском обществе и активным интересом к различным социологическим концепциям, ранее мало доступным и даже запретным, получили хождения многие термины, ранее неизвестные и не использовавшиеся. Принимая их на вооружение, отечественные социологи «переиначивали» их, наделяли иным, не свойственным им смыслом, что приводило подчас к недоразумениям и усложняло понимание той или иной проблемы.

В связи с этим мне казалось очень важным довести до сознания тех, кто только приступает к изучению социологии и начинает работать с социологической литературой, следующее: смысл тех или иных терминов, выражающих понятия, обусловлен исследовательской

(методологической) стратегией (подходом, позицией), в соответствии с которой социолог работает. А поскольку стратегии различны, как различны и формулируемые исследователем проблемы и задачи, постольку социолог должен быть разборчивым и взыскательным по отношению к используемым терминам и понятиям, ибо применение последних за пределом определенного круга задач может оказаться совершенно бесполезным и даже вредным. Работая с социологическими категориями, приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

- исследовательские стратегии могут характеризоваться своими собственными понятиями и терминами;
- при разных подходах используются одни и те же термины, в которые, однако, вкладывается иной смысл, то есть термины одни, а понятия разные;
- смысл терминов, используемых в рамках одной и той же исследовательской стратегии, изменяется — конкретизируется и уточняется — под воздействием новых данных.

Замечу также, что учет указанных ситуаций всегда был и будет актуальным для социологического знания в силу ряда причин, на которых не считаю возможным здесь останавливаться. Это, в свою очередь, обуславливает широкую трактовку проблемы «перевода» социологических языков. Суть ее, как мне кажется, состоит в том, что любые понятия, с которыми работаешь, должны быть «присвоены», то есть соответствовать определенной исследовательской и личностной позиции. Только тогда эффект от их использования будет заметен.

Размышляя над всем этим, не могу не сослаться на последний абзац статьи «Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация». «Процесс операционализации идей и методов познания, — читаем здесь, — родиной которых является Запад, сложен. Ю. М. Лотман заметил, что поступающие из другой культуры тексты — не книги, переставляемые с полки на полку, но топливо, брошенное в топку. Они запускают машину мысли, и чтобы выполнить эту роль, им надо сгореть, перестать быть собою» [10, с. 22]. Но когда мы не сжигаем их и не запускаем машину своей мысли, остаются одни слова — без мысли и без сердца. В таком случае мы находимся в ситуации, противоположной той, которая обозначена в заголовке моего эссе: «Мы оказываемся в мире, где никто не думает о словах, где слова льются из сердца». Это было сказано о «наивном письме». Но мне кажется, что то же самое можно сказать и о работах Натальи

Никитичны Козловой, и всех тех, кого по праву можно назвать подлинно творческой личностью.

Последние два года мы переписывались относительно регулярно. Я не помню, в связи с чем началось наше «электронное» общение, которому предшествовало давнее личное знакомство. Но за работами ее всегда следила. Они нравились мне. И не только те, которые написаны на основании «человеческих документов», но и более ранние, например, «Социализм и сознание масс» [12]. Казалось бы, что нового и интересного можно было сказать на эту тему? Тем не менее в книге много свежих идей, которые по сию пору (хотя многое переменялось и в «сознании масс», и в сознании исследователей «массового сознания») не теряют своего значения.

В процессе переписки мы делились трудностями нашей исследовательской работы. Наталья Никитична писала, что трудно и сложно совмещать исследовательскую и преподавательскую работу (которую называла «кровавым делом») и что последняя практически не оставляет времени для серьезных исследований. Я писала ей, что мне эта ситуация знакома, ибо всю жизнь занималась именно преподаванием, и что, возможно, поэтому и не имею длинного списка трудов. «Однако работа с сильными аспирантами и студентами дает много для уяснения своей позиции. Но где эти «сильные» сейчас?» (Добавлю также: когда эти «сильные» отсутствуют, преподавательское дело, действительно, становится «кровавым» и неинтересным.) В ответ Наталья Никитична выражала свою удовлетворенность работой со студентами-социологами и сетовала на то, что со студентами-философами ей скучнее из-за их склонности к спекуляциям. Но тяжесть совмещения преподавания и исследования давала себя знать. Осенью 2001 года она писала мне следующее: «Я сейчас еще более активно преподаю, но упираюсь, стараюсь что-то писать, хотя сил, по правде сказать, нет».

Обменивались мы с ней и впечатлениями относительно особенностей «постсоветского» научного сообщества. Я выражала свою неудовлетворенность тем, что практически отсутствовала какая бы то ни была конструктивная реакция на мою последнюю книгу. При том, что в самой общей форме (без всякого стимулирования с моей стороны) произносились комплименты. «Неприятно как-то, — писала я. — Не ждешь похвалы, а рассчитываешь хоть на какую-то реакцию — пусть даже отрицательную, выражение несогласия и т. д. А так — вроде бы ничего и не было». И еще я заметила, что мы пред-

почитаем замалчивать отечественных авторов, но обильно цитируем иностранных, демонстрируя «ученость» и «современность». «Такое впечатление, что друг друга мы не слышим».

«Я понимаю Ваше состояние по поводу отсутствия реакции, — писала Наталья Никитична. — В то же время, этому уже не удивляешься, т. к. принципы функционирования научного сообщества разрушены. Но ведь надо самим упираться. Понятно, что процесс этот не связан исключительно с личностями. Он носит более широкий общесоциальный характер».

Наталья Никитична заинтересовалась, как обстоит дело с «Народным архивом». Замечу, что идея организации последнего в Одессе появилась в значительной степени под воздействием ее работ и после получения от нее необходимой информации об аналогичном архиве в Москве. «Реализовалась ли Ваша идея относительно создания архива биографий? — писала она. — В № 9 за 2000 г. «Социса» я вспомнила об этом в своей статейке. Редакция хотела это убрать, но я настояла, чтобы оставили... Не забывайте об этой своей идее и держитесь, «не сдавайтесь», как говаривал мой отец. Кстати, я только сейчас, с возрастом прочувствовала, что он имел в виду».

На исходе 2001 года Н. Козлова написала мне: «Честно говоря, весь прошлый год я как-то безобразно себя чувствовала и еле тянула телегу жизни. Сейчас я, как мне кажется, вышла из маразма и снова вошла в нормальное состояние. Выходила из маразма исключительно через насилие над собой (по Н. Элиасу). Насилие состояло в том, что я-таки закончила вариант текста под названием «Сцены из истории изобретения советского общества». Там есть методологический раздел, но большую часть составляют case-studies, организованные в некую общую историю. Подала эту рукопись на издательский грант. А вдруг дадут денег. Если не дадут, то через год повторю попытку».

Жаль, если эта книга не увидит свет, но, к сожалению, наши способности «упираться» и «держаться» отнюдь не безграничны. Последнее письмо Н. Козловой я получила 10 января, когда приехала из санатория, но написано оно было 29 декабря. В нем она поздравляла меня с Новым годом, подробно (и конкретно) написала о своем отношении к моей последней книге, которая наконец-то к ней попала. Вспомнила, в частности, и о бессубъектности: «С критикой меня относительно бессубъектности согласна. Я думаю теперь, что акт письма — это акт субъектный». Я сразу же написала ей большое письмо, не зная о том, что ее уже нет и что она его уже не прочитает.

Литература

1. Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи. (Голоса из хора). — М., 1996.
2. Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: Опыт лингво-социологического чтения. — М., 1996.
3. Козлова Н. Крестьянский сын: опыт исследования биографии // Социологические исследования. — 1994. — № 6.
4. Козлова Н. Заложники слова // Социологические исследования. — 1995. — № 9–10.
5. Козлова Н. Документ жизни: опыт социологического чтения // *Sociologos*'96. — М., 1996.
6. Козлова Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или Размышления о значимости методологической рефлексии // Социологические исследования. — 2000. — № 9. — С. 22–31.
7. Мониторинг общественного мнения. — 2001. — № 2 (март — апрель).
8. Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Мониторинг общественного мнения. — 2000. — № 5 (49) (сентябрь — октябрь). — С. 35–44.
9. Козлова Н. Н. Социально-историческая социология. — М., 1998. — С. 192.
10. Козлова Н., Смирнова Н. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация // Социологические исследования. — 1995. — № 11. — С. 12–22.
11. Суименко Е. Феномен незнания, или Кое-что о просвещенном невежестве // Социология: теория, методы, маркетинг. — 1999. — № 3. — С. 210–222.
12. Козлова Н. Социализм и сознание масс. — М., 1989.
13. Шляпентох В. Письмо в редакцию // Мониторинг общественного мнения. — 2001. — № 2. — С. 46–50.
14. Козлова Н. Н. Сцены из жизни «освобожденного работника» // Социологические исследования. — 1998. — № 2.